

А. М. ЧЕРНЫЙ

Сурьбур-Травы



Борис Вашилов

Галиоты идут в Америку

Занимательно написанная биография основателя знаменитой Российско-Американской кампании ГРИГОРИЯ ШЕЛИХОВА.

Перед читателем проходит феерическая жизнь Колумба Российского. В книге впервые публикуются, остававшиеся до сих пор неизвестными, архивные данные об исследовательской деятельности русских мореплавателей, завоевателей и колонизаторов на Камчатке, Курильских, Алеутских островах, Аляске, на территории Нового Альбиона, в Калифорнии и на Гавайских островах.

Книга богато иллюстрирована художником К. Кузнецовым

Находится в печати и в непродолжительном времени выйдет в свет новая историческая повесть Бориса Вашилова:

«Юность Колумба Российского»

В повести описываются юные годы Григория Шелихова, присоединившего к России Аляску и другие территории в Америке, основателя знаменитой Российско-Американской кампании.

Повесть „Юность Колумба Российского“ является одним из звеньев исторической эпопеи „В моря и земли неведомые“.

Повесть иллюстрирована 12 рисунками художника К. Кузнецова.

А. М. ЧЕРНЫЙ

СУМБУР — ТРАВА

II

Рисунки худ. К. Кузнецова

Approved by UNRRA Team 568 — September 1946

Druck: Akademische Buchdruckerei F. Straub, München

Сумбур — Трава

Лежит солдат Федор Лушников в выздоравливающей палате псковского военного госпиталя, штукатурку на стене колупает, думку свою думает. Ранение у него плевое: пуля на излете зад ему с краю прошла, - курица и та выживет. Подлатали ему шкурку аккуратно, через пять дней на выписку, этапным порядком в свою часть, окопный кисель месить. Гром победы раздавайся, Федор Лушников держись...

А у него, Лушникова, под самым Псковом, - верст тридцать не боле, - семейство. Туда-сюда на ладье с земляком, который на базар снеток поставляет, в три дня обернешься. Да без спросу не уйдешь, - военное дело не булка с маком. Не тем концом в рот сунешь, подавишься...

Подкатился он, было, на обходе к зауряд-подлекарю, - человек свежий, личность у него была сожалеющая.

— Так и так, ваше благородие, тыл у меня теперь в полной справности, в другой раз немец умнее будет, авось с другого конца в самую голову цокнет... А пока жив, явите божескую милость, дозвоьте семейство свое повидать, по хозяйству гайки подвинтить. Ранение мое, сам знаю, не геройское, да яж тому не причинен. По ходу сообщения с котелком шел, вижу, укроп дикий над фуражкой, как фазан, мотается... А нам суп энтот голый со снетком и в горло не шел. Как так, думаю, укропцем не попользоваться. Вылез на короткую минутку, только нацелился-цоп. Будто птичка в зад клюнула. Кровь я свою всеж-таки, ваше благородие, пролил. Ужели русскому псковскому солдату на три дня снисхождения не сделают?...

Вздыхнул подлекарь, глазки в очки спрятал. „Я, - говорит, - голубь, тебя б хочь до самого Рождества отпустил, сиди дома, пополняй население. Да власть у меня воробьиная. Упроси главного врача, он все военные законы произошел, авось смилуется и обходную статью для тебя найдет“. Добрая душа, известно, - на хромой лошадке да в кустики.

Сунулся Лушников к главному, ан кремень тихой просьбой не расколешь. Начальник был формальный, заведение свое содержал в чистоте и строгости: муха на стекло по своей надобности присядет, чичас же палатной сестре разнос по всей линии.

— Энто, - говорит, - пистолет, ты не ладно придумал. У меня тут вас псковичей, пол лазарета. Все к своей губернии притулились. Ежели всех на бабий фронт к бабам отпускать, кто ж воевать до победного конца будет. Я, чтоли со старшей сестрой в резерве? У меня, золотой мой, у самого в Питере жена-дети, тоже свое семейство, некупленное... Однакож, терплю, с должности своей не сигаю, а и я ведь не на мякине замешан. Крошки с халата бы лучше сдул, ишь обсыпался, как цыган махоркой...

Утешил солдата, нечего сказать, - по ране и пластырь. Лежит Федор на койке, насупился, будто печень каленым железом проткнули. Сравнил тоже, те-терев шалфейный... Жена к ему из Питера туда-сюда в мягком вагоне мотается, сестрами милосердными по самое горло обложился, жалованье золотыми столбиками, харч офицерский. Будто и не война, а ангелы на перине по кисельному озеру волокут...

Сестрица тут остроглазая у койки затормозилась. Куриный пупок ему из слабосильной порции для утешения сунула, да из ароматной трубки вокруг побрыскала. Брыскай, не брыскай, - ароматы от мук не избавят.

Бечер пал. Дневальный на стульчике у двери порядок поддерживает, - храпит аж пузырьки в угловом шкапчике трясутся. Сестра вольную шляпку вздела, в город на легких каблучках понеслась, - петухов доить, что ли... Также и ей не мед солдатское мясо от зари до зари пеленать. Под зеленым колпачком лампочка могильной лападкой горит, вентиляция в фортке жуж-

жит, - солдатскую обиду вокруг себя наворачивает. Эх, штык им всем в душу, с правилами ихними... Хоть бы в полглаза посмотреть, что там дома... Сердце стучит, за тридцать верст, поди, слышно...

Отвел Лушников глаза с потолка, так бы зубами все койки и перегрыз. Видит, насупротив мордвин Бураков на койке щуплыя ножки скрестил, на пальцы свои растопыренные смотрит, молитву лесную бормочет. Борода, ровно пробочник ржавый. Как ему, пьявке, не молиться... Внутренность у него какая-то блуждающая обнаружилась-печень вокруг сердца бродит, - дали ему чистую отставку... Лежи на печи, мухоморную настойку посасывай. И с блуждающей поживешь, абы дома... Ишь, какое, гунявому, счастье привалило!

Отмолился мордвин; грудь заскреб. Смотрит Лушников-на грудке у Буракова какой-то поросячий сушеный хвост на красной нитке болтается.

— Энто что ж у тебя, землячок за снасть?

— Корешок, - говорит, - такой, сумбур-трава.

— А на кой он тебе ляд, что ты и на войну его прихватил? От спрашнели, что ли, помогает?

Осклабился Бураков. В ночной час в сонной палате и мордвину поговорить хочется. Пошарил он глазами по койкам, - тишина, солдатики мирно посапывают, хру, да хру, - известно, палата выздоравливающая. Повернулся к Лушникову мочалкой и заскрипел:

— Сумбур - трава. На память взял, пензенским болотом пахнет. По домашности первая вещь. Сосед какой тебе не по вкусу, хочешь ты ему настоящий вред сделать, чичаз корешок водой зальешь и водой энтой самой избу в потаенный час и взбрызнешь. В тую же минуту по всем лавкам-подлавкам черные тараканы зашуршат. Глаза выпьют, уши заклеют, хочь из избы вон беги. Аккуратный корешок.

Сел Лушников на койку, - не во сне ли с лешим разговаривает. Ан нет, мордвин самый настоящий, - подштанники казенные, лазаретное клеймо, все честь-честью.

— А выводный корешок-то у тебя есть?

— Какой выводной... Из воды его ж и вынешь, - просуши, да на черной свечке подпали, - все и стинут. Таракан не натуральный.

Взопрел даже Федор с радости, потому толковый солдат сразу определит, что к чему принадлежит. Умоляет, стало быть, Буракова - дай да отдай, зачем тебе, лисья голова, энтое снадобье. Ты, мол, домой вертаешься у себя на болоте сколько хошь-найдешь, а мне на войне, почем знать, во как пригодится.

Отпихивался мордвин, отпихивался, а потом и сдался.

— Ладно, Лушник. Ты человек добрый, пять ден за меня блевотное лекарство пил. Подарить не могу, давай меняться. Собачьей кожи браслетку с самосветящими часами отдашь, - корешок твой.

Принахмурился Лушников. Часики он у пленного на табак выменял: ночью проснешься, блоха тебя лазаретная взбудит, ан тебе в потьмах сразу известно, который час. А тут накось сопливой редьке часы отдай.

— Да зачем тебе, лесовику безграмотному, часы? По петухам встаешь, по солнцу ложишься, сосновой шишкой причесываешься. Лучше рубль возьми - подавись. Серебрянный рубль, чижелый.

Однако, уперся мордвин. Грудку застегнул, корешок спрятал, морду халатом верблюжьим не по правилам лазаретным прикрыл.

Посидел - посидел Лушников, не выдержал. Что-ж, часики дело наживное: авось и на другого пленного наскочит. Свое семейство ближе... Дернул мордвина за пятку, мало ногу с корнем не вырвал.

— На часы! Лопай! Матери своей на хвост нацепи, чтобы на метле ей летать способнее было. Давай корешок...

* * *

*

Завертелась мельница с самого утра. Только это мордвина выписали койку его освежили - оправили, - шась-верть, - влетает сестрица, носик вишенкой разгорелся, ручками всплескивает.

— Ужаси какая! В подвальной аптеке черные тараканы всю вазелинную смазь с'ели. По всем столам,

чисто, как чернослив, блестят . . . У нас госпиталь образцовый, откуль такая нечисть завелась, бес их знает, Господи помилуй. За смотрителем побежали . . .

Дежурный ординатор по корридору полевым галопом дует, шпорки цвякают, ремень перевернут, шашка куца по голенищам ляскает.

— Смотритель где? . . . Весь ночной диван в крупных тараканах, в чернильной банке кишмя кишат. Хочь дежурную комнату закрывай . . .

Только прогремел, глядь - дневальный санитар из офицерской палаты ласточкой вылетает да за дежурным ординатором вдогонку:

— Ваше скородие! Дозвольте доложить, господа офицеры перо - бумагу требуют, рапорт писать хотят . . . В подполковничьем молоке черный таракан захлебнувшись. Ругаются они до того густо, нет возможности вытерпеть . . .

И в канцелярии шум - грохот. Стенные часы стали, сволочи, а почему неизвестно. Полез письмоводитель на стол, - в нутро им глянул, так со стола и жваркнулся: весь состав в густых тараканах, будто раки в сачке-вокруг колес цапаются.

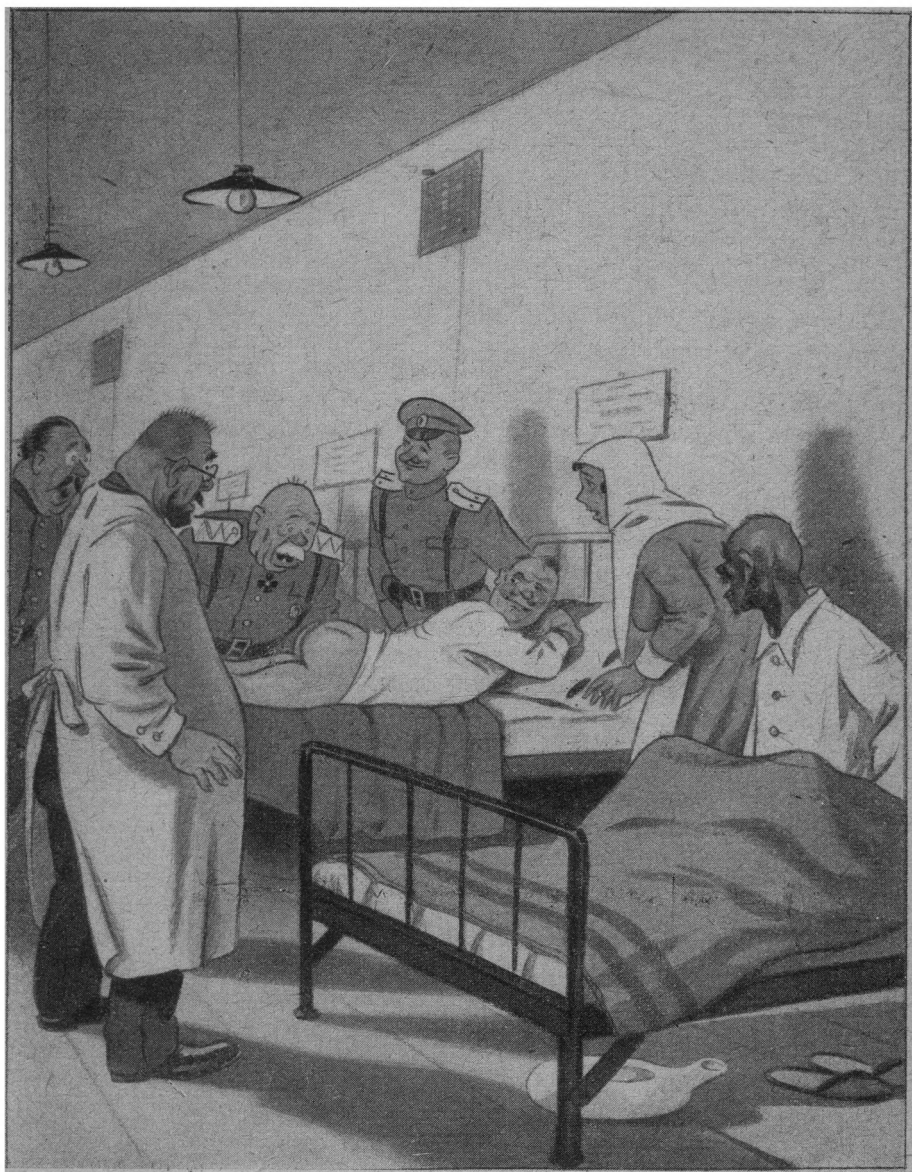
Из ревматической палаты толстая сестра на низком ходу выкатывается, фельдфебельским басом орет, аж царский портрет на стенке трясется:

— Да это что же?! С какой - такой стати в ночных шкапчиках тараканы?! Да этак они и за пазуху заползут . . . Я девушка деликатная, у меня дядя акцизный генерал, часу я тут не останусь.

Матушки мои . . . Лежит Федор Лушников на коечке своей, будто светлое дите, ручки из под одеяла выпростал, пальчиками шевелит, словно до него все это не касающее.

А тут главный врач из живорезной палаты в белокрахмальном халате выплескивается на шум - голдобню. Что такое? Немцы, что ли, госпиталь штурмом берут? . . .

Смотритель к нему на рысях подлетает, наливной живот на ходу придерживает, циферблат белый, будто головой тесто месил . . . Он за все отвечает, как не оробеть. К тому-ж со дня на день ревизии они ожидали, писаря из штаб-фронта по знакомству шепнули,



что мол главный санитарный генерал к им собирается: госпиталь уж больно образцовый.

Заверещал главный врач, - солдатики на койках промеж себя тихо удивляются: тыловой начальник доктор, а такая у него в голосе сила. Смотритель трясется - вякает, толстая сестра насаждает, а дневальный из офицерской палаты знай свое лопочет про рапорт да подполковничье молоко.

Первым делом бросился главный врач в офицерскую палату, голос умаслил, пронзительно умоляет. Да, может, таракана кто ненароком с позиции в чемодане завез, он с дуру в молоко и сунулся. Будьте покойны, ласточка без спросу мимо из окна не пролетит. Что ж зря образцовый госпиталь рапортом губит . . .

Шуршание тут пошло, чистка. Окна поразстегнули, койки во двор, тараканов по всем углам шпарят, денатуральным спиртом углы мажут, яичек ихних, однако, не видно . . . Хрен их знает, откуда они такие годовалые завелись сразу. А их все боле и боле: буружрут, спирт пьют с полным удовольствием, - хочь бы что.

А из кухни кашевар с ложкой вскачь: „ваше скородие, весь лук в тараканах . . . Прямо чистить нет возможности, сами на нож лезут“.

Обробел тут и главный, за голову схватился. Не переселение ли тараканье по случаю войны из губернии в губернию началось. Приказал пока что к офицерской палате дневального сверхштатного со шваброй поставить, чтобы какой таракан под дверную щелку не прополз. С остальными прочими время терпит.

Скребут - чистят. Кое - как пообедали, кажный солдат прежде чем рот раззявить, в ложку себе смотрит: нет ли в кашке изюмцу тараканьего. Так и день прошел в мороке и топотне. Только в выздоравливающей палате, как в графской квартире, - тараканьей пятки нигде не увидишь.

К закату расправил Федор Лушников русые усы, вышел за дверь по корридорному бульвару прогуляться. Видит, за книжным шкафом притулился к косяку смотритель, пуговку на грудях теребит, румянец на лице желтком обернулся. Подошел к нему на безшумных подошвах, в рукав покашлял. Смотритель, конечно, без внимания, своя у него думка.

— Так и так, - докладывает Лушников. Не извольте мол, ваше благородие грустить. Бог дал, Бог и взял.

— В присядку мне, что - ли плясать, чудак - человек. Да мне теперь перед ревизией в самую пору буры этой тараканьей самому поесть, а там пусть уж без меня разбираются.

— Куды-ж спешить. Бура от вашего благородия никуда не уйдет. А допрежь того, я вам всех тараканов в одночасье выведу, за полверсты от госпиталя ни одного не найдете.

Кинулся к нему смотритель, как к родному племяннику, чуть с копыт не сбил. Да ах ты, да ох ты... Да не жестко - ли ему, Лушникову, спать, да не охоч - ли он до приватной водочки?...

Лушников лисьи эти хвосты отвел, сразу к делу приступает. Угодно, мол, от тараканьей пехоты избавиться, сделайте снисхождение, на три дня увольте, - хочь гласно, хочь негласно, - семейство свое пови - дать.

— Да ты не надуешь - ли, яхонт, насчет тараканов? Нахвал денег не стоит... Ослобони, а там и разговор будет.

Лушникову что-ж... В каком, говорит, помещении у вас главный завод.

Повел его смотритель в продуктовый склад, дверь распахнул, а там - как майские жуки под тополями, - так черная сила живым ключем и кипит. Смотреть даже смрадно. Солдат огарок черный, который ему мордвин в придачу дал, из рукава выудил, чиркнул спичкой, подымил корешком... Так враз все тараканы, будто сонное навождение, и сгнули, - мордвин не какой -нибудь оказался.

В тую-же минуту у смотрителя на личности желток румянцем так и зайграл.

— Ах ты, орел! - говорит. - Выведи на скорую руку по всем этажам, а там вали на все три дня. На свой страх тебя увольняю. Глаза у тебя ясные русские, не подведешь, вернешься.

Сует на радостях Лушникову сала да чаю, тот, конечно, деликатно отказывается, да в рукав халатный прячет. Призадумался, однако, смотритель:

— Ты, братец мой, вижу я, дока: обмозгуй уж, при-

советуй, как бы этак отлучки твоей никто не приметил . . . А то в случае чего жилы из меня главный наш вымотает да на них же и удавит.

Усмехнулся Лушников. - Зачем же этакое злодейство. Жилы каждому человеку нужны . . . Есть у меня в Острове, рукой подать, милovidный брат. У купца Калашникова по хлебной части служит. Близнецы мы с ним, как два полтинника одного года. Только он глухарь полный, потому в детстве пуговицу в ухо сунул, так по сию пору там и сидит, - должно предвидел, чтобы на войну не брали . . . Вы уж, как знаете, его в Псков предоставьте, - заместо меня в лучшем виде три дня рыбкой пролежит и не хухнет. Чистая работа . . .

Взвился смотритель. Пока солдат по ночным палатам в тайности корешкам дымил, отрядил он помощника своего на интендантском грузовике в Остров. Версты кланяются, встречные кобылки на дыбки встают. Спешно, секретно, в собственные руки . . . Ночь знает, никому не скажет.

* * *

Ходит главный врач журавлиным шагом по госпиталю, обход производит. Часовому у денежного ящика ремень подтянул, во все угла носком сапога достигает. Хоть бы один таракан для смеха попался: красота, чистота. Утренний свет на штукатурке поигрывает, на кухне котлы бурлят, кастрюли медью прыщут, хозяйственная сестра каклетки офицерския нюхает, белыя полотенца на сквознячке лебедями раздуваются . . .

Взошел главный в выздоравливающую палату. Почему халат в ногах конвертом не сложен? Почему татарин у стенки рукавом нос утирает? С какой радости туфли под койкой носками врозь? Голос, однако-ж, сдобный, строгости еще настоящей в себя не вобрал, шутка - ли от такой тараканьей язвы госпиталь избавился . . . Дошел до Лушникова, приостановился . . .

— Ты в какое место, сокол, ранен? Запамятовал я.

Лушников - близнец на койку сел, белыми ресницами хлопает:

— По хлебной, говорит, части . . .

— Что такое? Откудова дурак такой мухобойный об'явился?

Сестрица востроглазая тут в разговор врезалась, удобрилась, как мачеха до пасынка:

— Не извольте, гослодин доктор, беспокоиться. Он с раннего утра все невпопад отвечает, заговаривается. Надо полагать, по семейству своему скучает.

— А, энто тот, что на три дня на побывку просился . . . Заговаривайся, друг, да не очень . . .

Глянул он тут в историю болезни, велит палатному надзирателю обернуть солдата дном кверху. Перевернули его, главный очки два раза протер, глазам не верит, - ничего нет, прямо как яичко облупленное.

— Ловко, говорит, у меня в госпитале работают . . . Надо - бы тебя, красавца, сею же минуту на выписку, да уж оставлю до ревизии. Пусть санитарный генерал сам поглядит, как чисто у нас в образцовом ранения залечивают.

Больше и смотреть не стал, с сестрой пошутил, веселой походкой из палаты вышел и пошел в канцелярию требования на крупу - соль подписывать.

Работа, меж тем, кипит. Смотритель с лица, как подгорелый солод стал. В команду новые медные чайники из цейгауза волокут, а то из жестяных заржавленных пили. Санитаров стригут, портрет верховного начальника санитарной части чистой тряпкой протерли, рамку свежим лаком смазали, - красота. На кухне блеск, сияние. Кашеварам утром и вечером ногти просматривают, чтобы чернозема энтого не заводилось дежурного репертят насчет пробы пищи, да как отвечать, да как полотенце на отлете держать.

Три дня пролетели, - нет санитарного генерала, - не извозчик псковской, - к любому часу не закажешь. Измаялись все: одну чистоту наведут, готовь вторую. Свежих больных - раненых подсыпят, опять скобли да вылизывай, - пустой котел блестит, полный - коптится.

Про Лушникова смотритель и не вспомнил, не такая линия. Однако-ж, он в обещанный срок, как лук из земли в вечерний час перед смотрителевым черным

крыльцом вырос. Личико довольное, бабьим коленком так от него и несет. Вестовой доложил. Вызвали потаенно близнеца - брата, сменились они одеждой, поцеловались троекратно, - и каждый на свое место: глухой на вокзал, Федор на свою койку. Пирожок с луком исподтишка под подушку сунул, грызет - улыбается. Угрели его, стало быть, домашние по самое темя.

Только утром он из сонной мглы на белый свет вынырнул, слышит парадные двери хлоп - хлоп. Махальный, сквозь дверь видать, знак подал. Дежурный ординатор с главным врачом шашками сцепились, чуть с мясом не вырвали. Один рапортует, другой сладким сахаром посыпает. Ведут... А в дальних покоях по всем углам сестры сосновым духом прыскают, чтобы лазаретный настой перенибить.

Обернулся генерал, выбрал себе точку, в выздоравливающую палату направление держит.

Ну, главный врач сообразил, конечно, ежели первый блин густо намазать, другие легче в горло пойдут. Подводит санитарного начальника к Лушниковской койке, на два шага позади в позицию встал, докладывает:

— Случай, Ваше Превосходительство, не обыкновенный... Солдат Лушников в сидячее место ранение имел, до того здорово у нас его залечили, что и швов не видать. Будто кумпол гладкий, до того красиво вышло. Муха та не усидит. Изволите взглянуть.

Генерал, само собой, интересуется. Перекувырнули Лушникову, оголили ему Нижний-Новгород, главный врач так и ахнул. Не крой лаком, завтра строгать... Рубец пунцовый во всю полосу, будто сосиска, вздулся. Опасности никакой, а знак отличия полный, лучше не надо.

Вот тебе и намазали... Нахохлился генерал, хмыкнул в перчатку и безсловесно в коридор вышел. Главный за ним, - только кулак за спиной Лушникову показал. Сестрица валерьяную пробку нюхает... Подбелил солдат щи дегтем, нечего сказать...

Что там дальше было - Лушникову неизвестно, а только через малое время крестный ход энтот назад потянулся: генерал кислый, шашку волочит, главный

врач за ним халатную тесемку покусывает, - сладка, надо быть. Смотритель в самом хвосте, - будто два невидимых беса под мышки его в котел волокут . . .

Обедать, однако-ж, надо, - и святые закусывают. Только это выздоравливающие за перловый суп приняли, сестрица впархивает да прямо к Лушникову с сюрпризом: „собирайся, милый человек, на выписку Главный врач распорядился перышко тебе немедленно вставить, - нечего лодырей держать, которые начальство почем зря морочат“.

Встряхнулся солдат, ему что-ж. Рыбам море, птицам воздух, а солдату отчина - своя часть. Не в родильный дом приехал, чтобы на койке живот прохладить . . . Веселый такой, пирожок свой с луком - почитай восьмой - доел, крошки в горсть собрал, в рот бросил и на резвые ноги встал.

— Спасибо, сестрица, за хлеб, за соль, за суп за фасоль. Авось, Бог не приведет в другой раз белое тело живопырным швом у вас зашивать . . . Слушок есть, что к Рождеству немцу капут, женщин у них уже будто малокровных в артиллерию брать стали. А с бабами много ли настреляешь . . .

Однако сестрица от койки не отходит, вертится. Очень ей по ученой части интересно, как так солдат то гладкий был, то вдруг рубец у него наливным алым перцем с исподу опять засиял. Как, мол, такое, Лушников могло произойти.

Ему что-ж скрывать, не католик какой -нибудь.

— Ничего, - говорит, - денатурального, сестрица, в том нет. Третьего дня, как меня ваш главный обернул, я по деликатности воздух в себя весь вобрал, вся кровь в меня и втянулась, ни швов, ни рубцов. А сегодня запамятовал, вот ошибочка и вышла. Уж не взыщите, сестрица. Корова быка доила, да все пролила. Всякое ня свете бывает . . .

Корнет — Лунатик

Кому что, а нашему батальонному первое дело - театры крутить. Как из году в год повелось, благословил полковой командир на масляную представлять. Прочих солдат завидки берут, а у нас в первом батальоне лафа. Потому батальонный, подполковник Снегирев, начальник был с амбицией: чтоб всех ахтеров-плотников - плясунов только из его первых четырех рот и набирали. А прочие - смотри - любуйся, в чужой котел не суйся.

Само - собой, кто в список попал, послабление занятий. Взводный уж тебя на ружейных приемах не засушит, пальчики короткие. И вопче жизнь свежая, будто вольного духу хлебнешь. Лимонад-фиалка . . .

* *
*

Словом сказать, столовый барак весь в ельнике, лампы - молнии горят, передние скамьи коврами покрыты, со всех офицерских квартир понашарпали. Впереди полковые барыни да господа офицеры. Бригадный генерал с полковым командиром в малиновых креслах темляки покусывают. А за скамьями - солдатское море, голова к голове, как арбузы на ярмарке. Глаза блестят, носами посапывают - интересно.

А на помосте - кипит . . . Вольноопределяющий - подсазчик из собачьей будки шипит - поддает. Да и поддает для проформы, потому рольки на зубок раздраконены, аж сам батальонный удивлялся. „Ах, - говорит, - и сволочи у меня, лучше и быть нельзя“.

Все, само собой, в вольном платье: кто барином в крахмале, кто купцом пузастым, кто услужающим половым - шестеркой. Бабы рольки тоже все свои сполняли. Прямо удивления достойно . . . Другой обалдуй в роте последний человек, сам себе на копыта наступает, сборку - разборку винтовки, год с ним отделенный бьется, - ни с места. А тут так райским перышком и летает, - ручку в бок, бровь в потолок, откуль взялась . . .

А всех чище вестовой батальонного командира, Алешка Гусаков, разделявал. Барыньку представлял, которая сама себя не понимала: то ли ей хрену с медом хочется, то ли в монастырь идти. То к одному, то к другому тулится, мужа своего, надо быть, для поднятия супружеской любви, дразнила . . . Мужчины за ей, конечно, как сибирские коты, так табуном и ходят. Ей что-ж . . . Пожевать да выплюнуть. Плечиком передернет, слово с поднамеком бросит, аж весь барак от хохота трясется. Бригадный генерал слезы батистом утирает, полковой командир ручкой отмахивается, батальонный уж и смеху лишился - только хрюкает. А адъютант полковой столбом встал и все взад оборачивается, солдатам знак подает:

— Тише вы, дуботолки, из за вас никакой словесности не слышно.

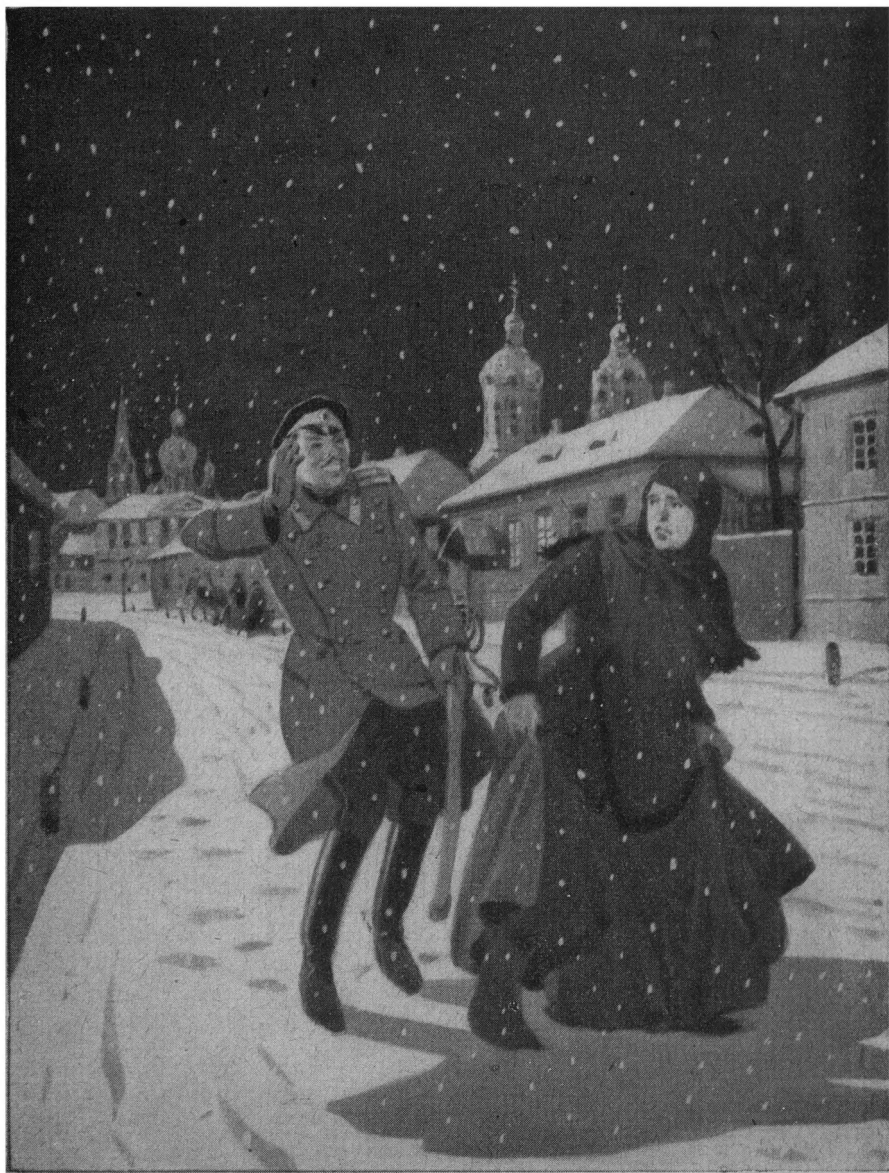
Чистая камедь . . . Как развязка-то развязалась, - барин в густых дураках оказался, на коленки пал. А Алешка Гусаков в бюстах себе рюшку поправляет, сам в публику подмигивает, - прямо к полковому командиру рыло поворотил, - смелый-то какой, сукин кот . . . Расхлебали, стало быть, всю кашу, занавеску с обеих сторон стянули, - плеск, грохот, полное удовольствие.

Ну, тут батальонный по - за - сцену продрался, Алешку в свекольную щеку чмокнул, руками развел:

Эх, Алешка! Был бы ты, как следует, бабой, ччас бы тебя насвой счет в Питербург на императорский театр отправил . . . В червонцах бы купался. Не повезло тебе, ироду, родители подгадили . . .

* * *

*



Комедь отвалияли, вертисмент пошел. Кажный, как умеет, свое вертит. Солдатик один на балалайке „Коль славен“ сыграл до того ладно, будто мотылек по невидимой цитре крылом прошелестел. Барабанщик Бородулин дрессированного первой роты кота показывал: колбаску ему перед носом положил, а кот отворачивается, - благородство свое доказывает. А как в барабан Бородулин грянул, кот колбаску под себя и под раскатную дробь все ее, как есть, с веревочкой слопал. Опосля на игрушечного конька взлез, Бородулин перед ним церемонияльный марш печатает, а кот лапкой по усам себя мажет, - парад принимает. Так все и легли...

Между прочим, и Алешка Гусаков номер свой показал: как сонной барыне за пазуху мышшь попала... Полковница наша в первом ряду так киселем и разливаается, только грудку рукой придерживает... Кнопки на ней все напрочь отлетели, до того номер завлекательный был.

Потом то да се, - хором спели с присвистом.

Отчего у вас, Авдотья,
Одеяльце в табачке?

Гусаков за Авдотью невинным фальшщетом отвечает. Хор ему поперек другой вопрос ставит, а он и еще погуще... С припеком.

Батальонный только за голову хватается, а которые барыни, - ничего, в полрукава закрываются, одначе, не уходят...

Кончилось представление. Господа офицеры с барыньками в собрание тронулись, окончательно вечер пополировать. Гусаков Алешка земляков, которые уж очень руками распространялись, пораспихал. „Не мыльтесь, братцы, бриться не будете“. И, дамской сбруи не сменивши, узелок с военной шкуркой подмышку, да и к себе. Батальонный евоный через три квартала жил, - дома, не торопясь, из юбок вылезать способней...

* * *

Вылетел Алешка за ворота, подол ковшиком подобрал, дует. Снежок белым дымом глаза пушит, над

забором кусты в инее, как купчихи в бане расселись. Сбил Гусаков с дождевой кадки каблучком сосульку, чтобы жар утолить. Сосет - похрустывает, снег под им так ласточкой и чирикает.

Глядь, из-за мутного угла наперерез - разлихой корнет, прибор серебряный, фуражечка синяя с белым, шинелька крыльями вдоль разреза так и взлетает. Откуль такой соболев в городе взялся? Отпускной что-ли? И сладкой водочкой от него по всему переулку полыхает.

Разлет шагов мухобойный, - раскатывает его на крутом ходу, будто чорт его оседлал, - а, между прочим, и не так уж склизко. Врезался он в Алешку, ручку к бровям поднес, честь отдал.

— Виноват. Напоролся . . . Куда-ж это вы, Хризантема Агафьевна, так поздно? И как это вас папаша - мамаша в такой час одну в невинном виде отпускают?

Ну, Алешка не сробел, в защитном виде ему что-ж . . .

— А что, - grit, - мне папаша с мамашей могут воспретить? Я натуральная сирота. А припоздала по случаю театра . . . И насчет тальмы не распространяйтесь, мои пульсы не для вас бьются . . .

Корнет, само собой, еще пуще взыграл.

— Ах, ландыш пунцовый! Да я что-же. Сироту всякий военный защищать обязан . . . Грудью за вас лягу.

Алешка тут, конечно, поломался:

— Мне, сударь, ваша грудь ни к чему: у меня и своя неплохая.

— Ах, Боже-ж мой . . . Да я ж понимаю! А где, например, ваш дом?

— За дырявым мостом, под Лысой горой, у лешего под пятой . . .

— Скажи, пожалуйста . . . В самый раз — по дороге.

И припустил за Алешкой цесарским петухом, аж шпоры свистят.

Видит Алешка - дело мат. Обернул он вокруг руки юбку, да и деру. До калитки своей добежал, к крыльцу бросился, только ключ повернул, глядь — корнет за плечами . . . Иного вино с ножек валит, а его, вишь ты, как окрылило.

Испужался солдат, плечом деликатно дверь придерживает.

— Уходите, ваше благородие, от греха. Дядя мой в баню ушедши. С минуты на минуту вернется, он с нас головы поснимает.

— Ничего. Старички, они долго парятся. А насчет головы, не извольте тревожиться, она у меня крепко привинчена. Да и вашу придержим.

И в дверь, как штопор, ввинтился. Шинельку на пол. За Алешку уцепился, да к батальонному в кабинетный угол дорогим званым гостем, как галка в квашню, ввалился. Выскользнул у него Алешка из-под руки. Стоит; зубками лязгает. Налетел с мылом на полотенце... А что сделаешь? Хоть в дамском виде, однако, простой солдат, - корнета коленом под пуговку в сугроб не выкатаешь...

Сидит корнет на диване, разомлел в тепле, пух на губе щиплет, все мимо попадает. А потом, чорт вялый, разоблакатся стал: сапожки ножкой об ножку снял, мундир на ковер шмякнул...

Гостиницу себе нашел. Сиротский дом для мимопроходящих... Шпингалет пролетный. И все Алешку ручкой приманивает:

— Виноват, Хризантема Агафьевна, встать затрудняюсь. А вы-б со мной рядом присели. На всякий случай... У меня с вами разговор миловидный будет.

Пятится Алешка задом к дверям, - будто кот от гадуки, за портьерку нырнул, - и на куфню. Дверь на крючок застегнул, юбку через голову, - будь она неладна. Из лифчика кое как вылез, рукав с буфером вырвал, с морды женскую прелесть керосиновой тряпочкой смыл, забрался под казенное одеяльцо и трясется. „Пронеси, Господи, корнета, а за мной не пропадет! Нипочем дверь не открою, хоть головой бейся“... Да для верности скочил на голый пол и шваброй, как колом, дверь под ручку подпер.

А корнет, показавшись на спружинах, телескопы выпучил, муть в ем играет, в голове все потроха перепутались. Сирота - то эта куда подевалась? Курочка в сережках... Поди, плечики пошла надушить, дело женское.

Глянул он в уголок, - видит на турецком столике чуть початая полбутылка щустовского коньяку... С колокольчиком. Потянулся к ей корнет, как младенец

к соске. Вытер слюнку, припал к горлышку. „Клю - клю - клю“. Тепло в кишки ароматным кипятком вступило, - каки уж там девушки. Да и давешний заряд не малый был.

Снежок по стеклу шуршит. Барышня, поди, ножки моет, - дело женское. Ну и хрен, думает, с ней... И не таких взнуздывали.

Бурку подполковничью на себя по самое темя натянул, ножками постучал. Будто в коньячной бочке черти перекатывают. Так и заснул под колыбельный ветер, словно мышь в заячем рукаве. Жернов - камень тяжелый, а пьяный сон и того навалистей.

На крыльце калошки - ботики скрипят. Ворчит батальонный, ключом в дырку попасть не может. Однако, добился. Не любит зря середь ночи денщика будить... Да и без того Алешка сегодня в театре упарился.

Ввалился в дверь, в пальцы подышал. Видит, из кабинет - покоя свет ясной дорожкой стелется: Алешка, стало быть, ангел - хранитель, постель стлал — лампу оставил. И храп этакий оттудова залиvistый, должно, ветер в трубе играет.

Ступил подполковник Снегирев на порог, глаза протер - отшатнулея. Что за дышло! Поперек пола офицерский драгунский мундир, ручки изогнувши, серебряным погоном блещет, сапожки лаковые в шпорках, как пьяные щенки, валяются... А на отамане, под евонной буркой, живое тело урчит... Кто такой? По какому случаю? Сродников в кавалерии у батальонного отродясь не было... Что за гусь сквозь трубу в полночь ввалился?

Поднял он тихом край бурки, - личико неизвестное. А на корнета свежим духом пахнуло, - потянулся он, суставами хрустнул и, глаз не продирая, с сонным удовольствием говорит:

— Пришли, душечка? Ну, что-ж, ложитесь рядом, а я еще с полчаса похраплю...

Но тут батальонный загремел:

— Кака - такая я вам душечка?! По какому - такому праву вы, корнет, на мой холостой диван с неба упали, и почему я с вами рядом спать должен? Потрудитесь встать по службе и короткий ответ дать!

Да бурку с него на пол.

Корнет, само собой, от трубного гласа да от ночной прохлады вскочил репкой, зеньки вытаращил . . . Равновесие поймал, ручки по швам, и хриплым голосом в одних носках выражает:

— Извините за ради Бога, господин полковник, вы, стало быть, ейный дядя?

— Кому я, псу под хвост, дядя? . . . Ежели вы, корнет, из сумасшедшей амбулатории сиганули, так я, славу Создателю, подполковник Снегирев, еще по потолку пятками не хожу. Кто вы такой есть, и почему я вас под своей буркой, как подброшенного младенца нашел?

Зарумянился корнет, однако, вылезать-то из невода надо.

— К племяннице вашей я, точно, подкатился. Однако, будьте без сумления. Все честь честью. Потому, как на вокзале, по случаю заносов, застрял, - сразу к вам ввалившись, на отамане и заснул. А насчет намерения ничего у меня не было. Оне девушки хладнокровные даже до невозможности.

Разсвирепел тут батальонный, крючок на воротничке сорвал:

— Да вы, что-ж это, корнет, со мной в чехарду играете? . . . Отродясь у меня племянницы не было. Я человек вдовый и над собой таких надсмешек не доволю. Да, может, вы и не корнет, а, извините, жулик маскарадный? Да я чичас всю вашу збрую запру, а вас к воинскому начальнику на рассвете в одних прохладных рейтузах отправлю. Эй, Алешка! . . .

Почернел гость залетный в лице, ан тут не взвешься. Потерял голову, - поиграй желвачком. Однако, сообразил: из тылового кармана билет свой отпускной вынул. Так, мол, и так, - занапрасно позорить изволите. А насчет племянницы, Бог ей судья. Либо я перепил, либо недопил, - наводнение такое вышло, что и сам начальник главного штаба карандаш пососет.

Повертел батальонный офицерскую бумажку в руках, языком цокнул, засовестился:

— Прошу покорно меня извинить. Я человек полнокровный, да и случай больно уж сверхштатный. Может, Алешка в энтот разе узелок развяжет. Эй, Алешка! Гориниста за тобой спосылать, что-ли?

* * *

*

Является, стало быть, Алешка. В темном углу у портъярки стал, шароварки оправил, руки по швам, стрункой.

Батальонный ему форменный допрос делает:

— Дома был все время?

— Так точно. На куфне, вас дожидавшись, у столика всхрапнул.

— Роза у тебя почему в саже?

— Самоварчик для вашего высокородия ставил... В трубу дул, а оттедева от напряжения воздуха сажа в морду летит. Куда-же ей деваться?

— Ладно не расписывый. Господина корнета видишь?

— Так точно.

— Хорошо видишь? Возьми глаза в зубки.

— Явственно обозначается. Мундир ихний и сапожки на ковре лежат, а их благородие отдельно стоять изволят. Прикажете подобрать?

— Не лезь, рукосуй, пока не спрашивают! Как их благородие к нам попал?

— В гости с вашим высокородием, надо полагать, явились. Чайку с лимоном прикажете на две персоны, либо кокетки со сладким горошком разогреть?

— Погоди греть, как-бы я тебя сам не взгрел... А вот теперь я расскажу. Дверь я ключом сам открыл, - была на запоре, понял?

— Так точно. Сам на два поворота замкнул. Замок у нас знаменитый.

— Так-с... Взшел в кабинет, ан у меня на отамане под буркой теплый корнет храпит. Вот они-с. Что ты на это скажешь? В замочную дырку он пролез, что-ли?

— Никак нет. Замочную дырку я завсегда с унутренней стороны бляжечкой прикрываю...

Усмехнулся батальонный, да и корнет повеселел, - сел на стул сапожки натягивать. Ишь какой, мол, солдат аккуратный.

— Так - так. Мозговат ты, Алешка, да и я не на глине замешан. Каким же манером, еловая твоя голова, корнет к нам попал? Тут, брат, не замком, - чудом тут пахнет.

— Не могу знать. Насчет чудес полковой батюшка больше меня понимают. А только дозвольте разъяснение сделать...

— Говори. Ежели дельное скажешь, полтинник на пропой дам.

— Весной, ваше скородие, случай был: полковой капельмейстер по случаю полнолуния на крыше у городского головы очутились. Извольте помнить?

— Ну-с?

— Сняли их честь - честью. Пожарные солдаты трехколенную лестницу привезли. Доктор полковой разъяснение сделал, будто это у них вроде лунного помрачения, Лунный свет в них играл...

— Ну-с?

— Может, и их благородию таким же манером парморки забило.

Посмотрел батальонный на корнета, корнет на батальонного, оба враз рассмеялись.

— Ну, это ты, ангел, - говорит корнет, - моей гнедой кобыле рассказывай. Какое же теперь полнолуние, луны и на полмизинца нынче нет.

— Да, может, ваше благородие, в вас это с запрошлой луны действует? Вроде лунного запоя...

Махнул тут батальонный рукой:

— Заткнись, Алешка! Не то что полтинника, гривенника ты не стоишь. Посадил корову на ястреба, а зачем - неизвестно... Тащи-ка сюда коклеты. У меня от ваших чудес аппетит, как у новорожденного. Да и гость богоданный от волнения чувств пожует. Прошу покорно...

Тронулся Алешка легким жаворонком: пронесло, слава Тебе, Господи. А батальонный ему в затылок:

— Стой! А чего это ты, шут, между прочим, все хрипишь? Голос у тебя в другую личность ударяет...

— Виноват, ваше скородие. Надо полагать, как в самовар дул, жилку себе от старания надсадил... Папироски на подоконнике, не извольте искать.

Да поскорее от греха два шага назад и за дверь.

* * *

*

Сидят, закусывают. Снежок по стеклу шуршит, коклетки на вилках покачиваются. Пожевал батальонный, к коньяковой собачке руку потянул: гнездо цело, да птичка улетела...

— Однако... И здоровы-ж энти лунатики пить-то! Чокнуться даже нечем. Да вы будьте без сумления, нехота не без запаса... Эй, Алешка, гони-ка сюда зверобой, в сенях на полке стоит. Сурьезная водочка. А, между прочим, корнет, здорового вы, надо быть, дрозда зашибли, допреж того, как в лунном виде под бурку мою попали. Ась?

— Так точно. По случаю заносов, на вокзале флакона два-три пристроил.

— Конечно. Чего-ж их жалеть... А за племянницей неизвестного дяди полевым галопом изволили все-ж таки дуть? Я по службе вас старше... Сам кобелял в свое время... Валите...

— Так точно. Был грех.

— А в чем она, племянница, одевши-то была?

— В черной тальме. А, может, и в белой. Снег в глаза бил и я, признаться, на раскатах очень заносился... Вот платочек запомнил: в павлиньих узорах, округ головы зеленые махры...

Затопотал батальонный каблуками, глазки залучились, по коленке корнета хлопнул.

— Так и есть. Это-ж вы за племянницей нашего старшего врача лупили. В театре она на комедь смотрела... Через дом от нас живет. Ах, корнет-пистон, комар тебя забодай! Ну и хват! Ан потом снежком ее занесло, ветром сдуло, а вы в мою калитку от двух бортов с разлета и попали... Ловко. Эй, Алешка!... Что-ж зверобой? Протодиакона за тобой спосылать, что-ли?

А Алешка за портьеркой задержался, разговор ихний слушавши. Спервоначала так весь сосулькой и заледенел, а потом видит, какой натуральный поворот делу даден, - взошел бесстрашно, рюмками звякнул. Встал перед ими - душа на ладони-и дополнение светлым голосом сделал:

— Запомятовал, ваше скородие, виноват. Как за дровами в самую полночь в сарайчик отлучился - черный ход самую малость у меня был не замкнут. Мо-

жет, в эту самую дистанцию их благородие к нам в лунном виде и грохнули. Больше неоткуда, потому чердак у нас изнутри замазан. Таракан и тот не пролезет.

Объяснил чистосердечно, батальонный окончательно повеселел, - военный начальник точность любит, а не то, чтоб на чудесном помеле корнеты сквозь штукатурный потолок под бурку вваливались. Отпустил он Алешку сны досыпать, а сам по пятой зверобой - рюмке невинный вопрос задает:

— Ну, что-ж, сынок, пондравилась тебе докторская племянница? Лимон с гвоздикой.

— Так точно. Сужет приятный, да с крючка сорвалось . . . Руку только нацелился поцеловать, - чуть зубов не лишился. Огонь девка!

Батальонный так и покатился.

Эх, ты, व्यюнош скоропалительный. Да она-ж горбунья! В градусах да в снежной завирушке ты и не разглядел . . . Ручку? Ее-ж потому одну домой доктор из театра отпустил, что все ее в городе знают . . . Кто-ж на такую вилокватую березу, окромя мухобойного залетного корнета, и польстится?

Насутился корнет, губу щиплет. Досада . . . Да скорей за шестую рюмку. Зверобой конфуз осаживает, известно.

Поднял тут батальонный голову: ишь как в сенях ветер скворчит. Сквозь портьерку ему невдомек, что не в ветре тут суть, а энто Алешка, гнус, морду себе башлыком затыкает . . . Смех его разбирает - вот - вот по всем суставам взорвется . . .

Антигной

Посылает полковой адъютант к первой роты командиру с вестовым записку. Так и так, — столик у меня карточный дорогого дерева на именинах водкой залили. Пришлите Ивана Бородулина глянец навести.

Ротный приказание через фельдфебеля дал, адъютанту не откажешь. А Бородулину что ж: с лагеря от занятий почему не освободиться; работа легкая - своя, задушевная, да и адъютант не такой жмот, чтобы даром солдатским потом пользоваться.

Сидит это Бородулин на полу, лаком - сандаракком ножки натирает, упарился весь, разогрелся, гимнастерку с себя на паркет бросил, рукава засучил. Солдат был из себя статный да крепкий, хочь портрет пиши: мускулы на плечах, руках, под кожей чугунными желваками перекатываются, лицо тонкое, будто и не простой солдат, а чуть - чуть офицерских дрожжей прибавлено. Однако ж, что зря хаять, - родительница у него была старого закала, природная слободская мещанка, - в постный день мимо колбасной лавки не пройдет, не то, чтобы что . . .

Перевел дух Бородулин, ладонью пот со лба вытер. Поднял глаза, барыня в дверях стоит, - молодая, значит, вдова, у которой адъютант по сходной цене фатеру сымал. Из себя аккуратненькая, личико тоже - не отвернешься.

Уже ли адъютант у корявой жить станет . . .

— Упрели с солдатик?

Скочил он на резвые ноги, - гимнастерка на полу. Только он ее через голову стал напяливать, второпях в ворот руку вместо головы сунул, ан барыня его и притормозила:

— Нет, нет. Гимнастерку не трожьте!

Обсмотрела его по всем швам, будто экзамен произвела и за портьерку медовым голосом бросила:

— Чисто Антигной . . . Энтот мне как есть подходит.

И ушла. Только дух за ней сиреневый так дорожкой и завился.

Принахмурился солдат. На кой ляд он ей подходит? Экое слово при белом свете лягнула . . . С жиру они, барыни, перила грызут, да не на такого напала.

Справил Бородулин работу, снасть свою в узелок связал, через вестового доложил.

Вышел адъютант самолично. Глаз прищурил: блестит столик, будто его корова мокрым языком облизала.

— Ловко, - говорит, - насандалил, молодец, Бородулин!

— Рад стараться, ваше скородие. Только извольте приказать, чтобы до загрева окон не отпирали, пока лак не окреп. А то майская пыль налетит, столик затомится . . . Работа деликатная. Разрешите иттить?

Наградил его адъютант, как следовало, а сам ухмыляется:

— Нет, братец, постой. Одну работу справил, другая прилипла. Барыне ты очень понравился, барыня лепить тебя хочет? понял?

— Никак нет. Сумнительно чтой-то . . .

А сам думает: что ж меня лепить-то? Чай уж вылеплен . . .

— Ну, ладно. Не понял, так барыня тебе разъяснение даст.

И с тем фуражку на лоб и в сени проследовал. Только, стало быть, солдат за гимнастерку - портьерка - взык! - будто ветром ее в бок отнесло. Стоит барыня, пуховую лалонь к косяку прислонила и опять за свое:

— Нет, нет. Взойдите, как есть, в натуральном виде. Вас как зовут - то, солдатик?

— Иван Бородулин. — Ответ дал, а сам, будто медведь на мельничное колесо, вбок уставился.

Зовет она его, значит, в свой покой на близкую дистанцию. Адъютант приказал, не упрешься.

— Вот, — говорит барыня, — обсмотрите. — Все кругом, как есть, моей работы.

Мать честная! Как глянул он, аж в глазах забелело: полна горница голых мужиков, кто без ног, кто без головы... Платья — белья и званья не видать, а лица, между прочим, строгие.

Барыня тут полное пояснение сделала:

— Вот, вы, Бородулин, по красному дереву мастер, я из глины леплю. Только и разница. Ваша, например, политура, а моя — скульптура... В городе монументы, скажем, понаставлены, — те же самые идолы, только в окончательном виде...

Видит солдат, что барыня не военная, мягкая, — он ей поперек и режет:

— Как, сударыня, возможно? На монументах ерои в полной парадной форме на конях шашками машут, а энти, без роду — племени, ни к чему. Разве таких голых чертей в город выкатишь?

Она, ничего, не обижается. В кружевной платочек зубки поскалила и отвечает:

— Ан, вот и ошиблись. В Питере не бывали? То — то и оно. А там в Летнем саду беспорточных энтих сколько угодно. Который бог по морской части, которая богиня бесплодородием заведует. Вы солдат грамотный, следует вам знать.

„Ишь, заливаает?“ — думает солдат. — „Чай, там, в столичном саду, мамки княжеских ребят нянчат, начальство гуляет, — как же возможно погань такую меж деревьев ставить?...“

Достает она из рундучка белую мохнатую простыню, край кумачевой лентой обшит, — подает солдату.

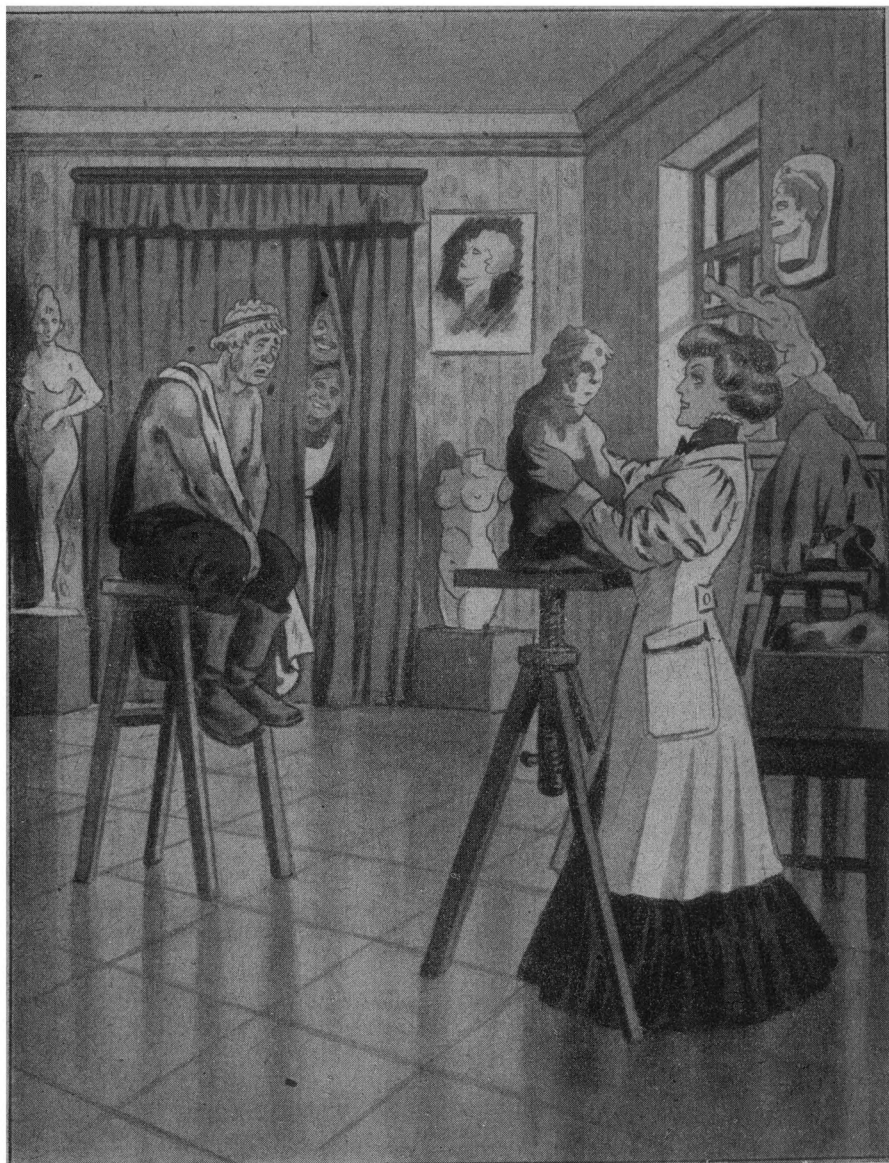
— Вот вам за место крымской епанчи. Рубаху нательную прочь сымайте, мне она без надобности.

Ошалел Бородулин, стоит столбом, рука к вороту не подымается.

Ан барыня упрямая, солдатского конфуза не принимает:

— Ну, что ж вы, солдатик? Мне ж только до пояса, — подумаешь, одуванчик какой монастырский... Простыньку на правое плечо накиньте, левое у Антигноя завсегда в натуральном виде.

Не успел он опомниться, барыня простыню на плече лошадиной бляхой скрепила, посадила его на высокий табурет, винт подвинула... Вознесся солдат,



будто кот на тумбе, - глазами лупает, кипяток к вискам приливает. Дерево прямое, да яблочко кислое . . .

Взяла она солдата на прицел из всех углов.

— В самый раз. Вот только стригут вас, солдат, низко, - мышь зубом не схватит. Антигною беспрерывно кудерьки полагаются. Мне для полной фантазии завсегда с первого удара модель во всей форме видеть надо. Ну, этой беде пособить не трудно . . .

В рундучок снова нырнула, паричок ангельской масти вынула и на Бородулина его так круглым венчиком и скинула. Сверху обручом медным притиснула, - то ли для прочности, то ли для красоты.

Глянула она с трех шагов в кулачек:

— Ох, до чего натурально! Известкой бы вас побелить, да в замороженном виде на постамен поставить - и лепить не надо . . .

Посмотрел и Бородулин в зеркало, что наискось в простенке около козлоногого мужика висело . . . Будто чорт его за губу дернул.

Ишь срамота . . . Мамка не мамка, банщик не банщик, - то есть до того барыня солдата расфасонила, что хоть в балаганах показывай. Слава Тебе, Господи, что окно высоко: окромя кошки, никто с улицы не увидит.

А молодая вдова в раж вошла. Глину вокруг станка вертит, туловище в сыромятном виде на скорую руку обшлепала, заместо головы колобок мятый посадила. Вертит, пыхтит, на Бородулина и не взглянет. Спервоначалу она, вишь, до тонких тонкостей не доходила, абы глину кое - как обломать.

Потеет солдат. И сплунуть хочется, и покурить охота смертная, а в зеркале плечо да полгруды, как на лотке, корнем торчат, вверху рыжим барашком пакля расплывется, - так бы из-под себя табурет выдернул да себя по морде в зеркале и шваркнул . . . Нипочем нельзя: барыня хоть и не военная, однако, обидется, - через адъютанта так ушибет, что и не отдышешься. Упредила, однако ж, и она. Ручки об фартук вытерла, на Бородулина смотрит, усмехается.

— Сомлели? А вот мы передышку чичас и сделаем. Желательно походить, походите, а то и так в вольной позиции посидите.

Чего ж ему ходить в балахоне - то энтот с обручом? Запахнул он плечо, слюнку проглотил и спрашивает:

— А из каких он, Антигной, энтот будет? В богах басурманских числился, либо на какой штатской должности?

— При крымском императоре Андреяне в домашних красавцах состоял.

Покрутил Бородулин головой. Скажет, тоже... При императоре либо флигель-адъютанты, либо обер-камердины полагаются. На кой ему лад при себе хахаля такого в локонах содержать.

А барыня к окну подошла, в сад по грудь высунулась, чтобы ветром ее обдуло: тоже работа нелегкая, - пуд глины месить, не утку доить.

Слышит солдат - за спиной писк - визг машинный, портьерка на кольцах трясется. Покосился он назад на оба фланга, чуть с табуретки не скovyрнулся: с одного конца барынина горничная, вертеха, в платочек давится, с другого денщик адъютанский циферблат высунул, погоны на нем так и трясутся, а за ним куфарка, - фартуком пасть закрывает... Повернулся к ним Бородулин полным патретом - так враз всех трех и прорвало, будто по трем сковородкам горохом вдарили... Прыснули, да скорее ходу по стенке, чтобы барыня не застигла.

Обернулась барыня от окна, Борадулина спрашивает:

— Вы что же это, солдатик, фырчите?

И ответить нечего... Кто фырчит, а кто обалдуем на табуретке сидит. Обруч на бок съехал, глаза, как гвозди: так бы всех идолов в палисадник вместе с барыней к хрену и высадил. Вздохнул он тяжко, - Бог из глины Адама лепил, поди Адам и не заметил, а тут барыня перед всей куфней на позор выставила...

Эх, ты, гладкая! Сколько у ерша костей, столько и барских затей... Знак за отличную стрельбу выбил, по гимнастике, по словестности первый в роте, и вот достиг, - из-за адъютантской политуры в Антигной влип и не вылезешь... Не барыниным каблучкам присягал, чего ж в простыню-то заварачивает?

Видит барыня, что солдат совсем смяк.

Полепила она еще с малое время, передничек сняла и деликатным голосом выражает:

— Ежели вам, например, не в моготу, чего-ж зря сопеть-то... Это с простого звания людьми часто бывает, - от умственного занятия до того иного с непривычки в полчаса расспатает, будто воду на ем возили... Да и мне лепить трудно, ежели натура на табуретке простоквашей сидит. Для фантазии несподручно. Идите, солдатик в лагерь. А завтра с утра беспременно приходите. Я завтра постановку головы вам сделаю, а что касаемо ног, уж я их вам наизусть с какого-нибудь крымского болвана приспособлю.

И полтинничек новый Бородулину из портманетки презентовала. Барыня была справедливая, тоже она не любила, чтобы около ее даром потели...

* * *

*

Заявился Бородулин в лагерь, - около передней линейки стоит ихней роты фельдфебель, брюхо чешет, в бороду речочет.

— С легким паром. Отполировался?

— Так точно. Столик в полную форму произвел.

— Ты мне столиком не козырай... Барыня-то до коих пор тебя вылепила? Антигноем заделался. Смотри, в Питер на выставку идола твоего пошлет, заказов не оберешься.

Взводные тут которые, - свои - чужие, - в руку похохатывают, эемляки ухмыляются.

Сгорел Бородулин... Вот так пуля! Стало быть, по денщицкому полевому телефону уже дошло... В городе рубят, по посадам щепки летят.

Тронулся он, было, дальше, в свое отделение, а сзади так и наддают:

— Ишь, ты, доброход! Такие-то тихие, можно сказать, и достигают.

— В корсет его засупонила. Лепись!

— Ен и сам вылепит... Ай-да, Бородулин, первую роту не посрамил.

Прибавил солдат ходу, - сколько ни брешут, еще и на завтра останется.

Ан тут ротный с батальонным, старичком, по песочку мимо палаток прогуливаются.

Стал Бородулин во фронт. Батальонный на него глазами ротному показывает.

— Антигной?

— Он самый. Ну, что ж, Бородулин, потрафил?

— Не могу знать, ваше скородие.

Тянется солдат, а сам, как вишня, наскрозь горит.

— Ну, ступай отдохни. Замялся, поди. Ишь, орел какой... Можно сказать, выбрала!

А уж какой там орел, - курицей в палатку свою заскочил, куска хлеба не с'ел, до самой вечерней поверки витовку свою чистил, слова ни с кем не сказавши.

Утром, только на занятия вышли, Бородулин ни гугу, будто вчерашнее во сне привиделось. Однако, фельдфебель пальцем его к себе поманил.

— Собирайся, гоголь. Адъютант вестового присылал, чтобы беспрерывно тебе каждое утро у барыни лепиться... Портянки - то свежая надень, - либо носки тебе фильдебросовые из штаба округа прислать. Павлин ты, как я погляжу.

Взмолился Бородулин, чуть не плачет:

— Ослобоните, господин фельдфебель... Заставьте за себя Бога молить. За что ж я в голой простыне на весь полк позор принимать должен? Уж я вашей супружнице в городе опосля маневров так кровать отполирую, что и у игуминьи такой не найти.

— Не подсыпайся, братец, не могу. Ты солдат старательный, сам знаю. Да как быть - то? Ротный из тебя с'полковым адъютантом в раздор не пойдет... Потерпи, Бородулин, экой ты щекотливый. Солдат только на морозе, да в бане краснеть должен. Однако, ты там смотри, - в адъютантский котел с солдатской ложкой не суйся... Адъютант у нас серьезный. Ступай.

Вот и позавтракал: селезень и тот упирается, когда его резать волокут, а солдат и серьгой тряхнуть не смеет.

* * *

*

Помаршировал Бородулин к барыне, в каждом голенище словно по пуду песку, - до того итти не охота. Слободой проходил, - слышет из белошвейной мастерской звонкий голос его окликаёт:

— Эй, кавалер! Чтож паричек то не надели, мы для вас бантик розовый заготовили...

Обернулся он, а в окне четыре мамзели, одна на другой лежат, пальцами на него указывают.

— Антигной Иванович! Зашли бы к нам, что брезгаете? Чай, мы не хуже барыни, - красоту бы свою нам показали...

Плечики у вас, сказывают, пуховые... Может, голь-кремом смазать прикажете? Что ж так барыне в сыром виде показываться.

Наддал солдат, щепень под каблуками так сахаром и заскрипел. А вслед самая озорная, девчонка шелудивая, которая утюжки подает, на всю улицу заливаётся:

— Цып - цып - цып!... Солдатик!... В случае, глины на вас не хватит, пришлите к нам, у нас на дворе свињи свежей нарыли!

Ишь, уксус каторжный!... На всю слободу оскомила. Взял он наперерез проулком к адъютантской фатере направление, в затылок мальчишки в два пальца свистят, приказчики из москательной лавки на улицу высыпали:

— Эвона! Монумент глиняный на занятия вышел... Что к чему обычно - брюхо к опояске, солдат к барыниной ласке.

— На соборной площади тебя, сказывали, поставят, - смотри не свались!

Развернулся, было, Бородулин, хотел одного, который более всех наседал, с катушек сбить, ан тот в лабаз заскочил. Сел, пес, в дверях на ящик, мешок через плечо перекинул, ноги раскорячил, - позывает, как солдат на табурете в позиции сидит...

Прямо, можно сказать, убил. Грохот, свист... Сиганул Бородулин через забор, да пустырями, по задворкам, на барынину улицу, как петух из капусты, вынырнул.

Зашел с черного входа, будто его на аркане топить волокли. Только мимо куфни проскочить нацелился: горничная за куфарку, куфарка за денщика, - трясутся,

заливаются, слова сказать не могут. Прошел Бородулин, словно босыми ногами по битой посуде... Барыня на скрип вышла, про здоровье спрашивает. Послал бы он ее по прямому проводу, да нижним чинам в барском доме деликатные слова заказаны...

В дна счета обрядила она его по-вчерашнему, - локонцы эти собачьи промеж ушей натянула, на правом плече бляха, левое окороком вперед.

— Как сомлеете, скажите... Я зря человека мучить не люблю.

Добрая, что и говорить! А сама такую муку придумала, что кабы не служба, кота б она на крыше лепила вместо Бородулина...

Мнет барыня глинку, миловидно дышет. Туловище кое, как обкарнала, на патрет перешла. Чиркуль со стенки сняла и для проверки дистанции стала солдату между губой и носом, да промеж глаз тыкать... Наизусть, значит, не умела, - а тоже берется...

Злой он сидит, как волк в капкане. Да волку, поди, легче, - лапу отгрыз, и поминай, как звали. А тут, отгрызи-ка! На чиркуль глаз скашивает, как бы в ноздрю не заехал, и все ухом к портьерке: не регочут ли там энти гадюки домашние... Хорошо ему, денщику адьютантскому, - курносый да рябой, как наперсток, - в Антигной - то не попал.

Встрепенулась тут барыня:

— Ах - ах! Совсем из памяти вон. Портниха ж меня там в будуварном покое дожидается!... Делов столько, что почесаться некогда. Вы уж, солдатик, посидите, ручки - ножки поразомните, а я там мигом по своей женской части управлюсь. Орешков - ли пока не желаете погрызть, только на паркет не сорите.

С тем и упорхнула. Сидит Бородулин, прееет, табурет под ним побрякивает. До орешков ли тут, кажись, бы самого себя с досады перегрыз.

Нечего сказать, поднесла ему барыня: и проглотить тошно, и выплюнуть не смей.

А за спиной фырк да фырк... Ляпнуть бы туда туловищем своим глиняным.

Ан тут портьерка в сторону, - старая старушка, которая при барыниной дочке в няньках состояла, на пороге стоит, в коридоре зычным голосом командует:

— Киш, пошли прочь на куфню! Еще и чужих повели смотреть, - эка невидаль, - с солдата мерку сымают... Вон отседова, не то барыне доложу, она вас живо распатронит.

И в монументную комнату колобком вкатилась. Посмотрела на Бородулина, аж чепчики заскребла:

— Тыфу ты, нечистая сила! Ишь, как живого солдата в крымскую девку обработала...

Солдат, бедный, так голенищами с досады и хлопнул:

— Чтож, бабушка, самому несладко... По городу не пройти, - так и поливают. Привязала меня твоя барыня через адъютанта, как воробья на нитке, куда ж подашься...

— А ты не гоноши... Какой роты?

— Первой, бабушка. Под арестом ни разу не был, стрелок хоть куда, - из пяти пуль все пять выбиваю... Вот и дождался производства. Барыне б твоей пол пуда мышей за пазуху!

Пожевала старушка по-заячьи губами, обсмотрела со строгостью Бородулина, однако ж смягчилась.

— Внучек у меня в Галицком полку служит чоже в первой роте. Вроде тебя. Винтовку за штык на вытянутой руке подымает... Ну, что ж, сынок, надо тебе ослобониться. Барыня у нас ничего, да вот блажь на нее накатывает, все норавит кобылу хвостом вперед запретить...

— Да как же, бабушка, ослобониться то? —

— А ты старших не перебивай. И не такие винты развинчивала. Походила она по комнате, морскому богу в морду с досады плюнула. Вдруг - хлоп! - на прюнелевых ботинках подкатывает к табуретке, веселым шопотом скворчит:

— Нашла, яхонт... Ей Богу,шла! Куда дерево подрубил, туда, милый, и свалится! Барыню нашу ничем не сколупнешь, адъютантом вертит, не то что солдатом на табуретке. Однако, есть и на нее удавка: запах она простых не переносит, субтильная дамочка. Почитай, с самого детства, чуть, что, чичас же из комнаты вон...

— Да где ж я, бабушка, запахи энти-то возьму?

— А ты, Скобелев, вперед не заскакивай... Завтра спозаранку, прежде чем на муку свою итти, редьки скобленой поешь, сколько влезет, да еще полстолько... Понял? Да луковицу старую пополам разрежь и под мышками себе натри до невозможности. Вот как вспотеешь, не то что барыни, мухи на паркет попадают. Чу, идет... Пострадай уж, сынок, а завтра помянешь ты меня, старуху, добрым словом.

И с тем на прюнелевых ботинках выкатилась, будто светлый ангел.

Барыня взошла и опять за свою глинку. Воззрилась она раз - другой, сережками потрясла:

— Чудной вы, солдатик. То, как сыч, сидел, а теперь, вишь, веселость какую в лице обнаружил. Посурьезнее нельзя ли. Антигнои, они веселые не бывают.

А как тут серьезным сидеть, когда все нутро у солдата от старушкиных слов так и взыграло...

* * *

*

Далее что и рассказывать? ... Как на другое утро стал солдат на посту своем табуретном редькой отрывивать, да как потным луком от него, словно из цыганского табора, понесло, - барыня так и взвилась. Да еще на евовное счастье дождик шел, - окна не откроешь...

Стала она с ножки на ножку переступать, да кружевным платочком вентиляцию производить, да глину е тоски не в тех местах мять, где полагается...

К грудям ей подкатило, насилу успела выбежать, - можно сказать, аж люстра матом покрылась, до того солдат нянькин рецепт во всей форме произвел.

Ждет он, пождет, - нет барыни. То ли ему одеваться, то ли дальше редькой икать... Да и совесть покалывать стала: барыня к нему „солдатик - солдатик“, а он так со шкурой ее от глины и оторвал. Что ж, сама виновата, хочь бы, скажем, Ермака, с него лепила, либо генерала Кутузова, а то такую низменную вещь...

Стал он деликатно каблуками постукивать, чтоб редьку заглушить, а тут нянька гимнастерку ему не-

сет, глаза, как у лисы, когда она из курятника с полным брюхом ползет.

— Ну, милый, полный расчет. Оболокайся да ступай в лагерь, нам ты более не надобен... Ух, и начадил ты, однако, сига закоптить можно.

Курительную монашку зажгла и в угол отвернулась, пока с себя поганую одежду сымал.

Затянул он поясок, обдернулся, полушалок с турецкими бобами из кармана вынул и старушке с поклоном преподносит:

— Примите, бабушка, за совет, за беспокойство. Из олчьей ямы, можно сказать, вытащили...

— Ах, свет мой! Глазастый то какой, вот уж угодил старухе... Спасибо, сынок. Кабы с плеч лет пятьдесят скинуть, я б, ландыш, и не так отблагодарила. Однако, ступай, до того от тебя простой овощью разит, что и разговор вести невозможно.

Встряхнулся Бородулин, налево - кругом повернулся, подошвой в пол хлопнул, - аж все голые мужики - бабы по стенкам затряслись...

СО Д Е Р Ж А Н И Е :

Сумбур-трава	3
Корнет-лунатик	15
Антигной	26

Интересные книги!!!

Покупайте книги талантливого русского зарубежного юмориста

А. М. ЧЕРНОГО

1. Ослиный тормаз, с иллюстрациями худ. К. Кузнецова, Цена 5 марок
2. Сумбур-трава, с иллюстрациями худ. К. Кузнецова . . . „ 5 „
3. Лебединая прохлада, (ротаторное издание) . . . „ 3 „
4. Бестелесная команда (сборник находится еще в печати).

Высылаются наложенным платежем, по получении заказа,

следующие книги:

1. Борис Башилов — «В моря и земли неведомые» . Цена 15 марок
2. Кот в сапогах, в тексте 15 рисунков „ 3 „
3. Афанасьев — «Русские народные сказки», в тексте
6 рисунков „ 5 „
4. А. М. Черный — «Ослиный тормаз», иллюстрированное
издание „ 5 „
5. А. М. Черный — «Сумбур-трава», иллюстрированное
издание „ 5 „
6. Л. Успенский — «Двенадцать подвигов Геракла»,
с 11 иллюстрациями в тексте „ 5 „

Каталоги высылаются по первому требованию.

Книги высылаются наложенным платежем.

Просьба денег авансом не переводить.

München 23, Alte Heide 2a/I, Technisches Büro, M. Tamarzeff

БОРИС БАШИЛОВ

В МОРЯ И ЗЕМЛИ НЕВЕДОМЫЕ . . .

Историческая повесть



Книга содержит 140 страниц мелкого шрифта. В тексте 18 иллюстраций художника К. Кузнецова.

В повести описываются малоизвестные исторические события — поиски русскими мореплавателями в первой половине 18 века в Тихом океане легендарной земли Жуана де Гама и плавание штурмана Ивана Федорова в Америку 1732 году, за 9 лет до Витуса Беринга и Алексея Чирикова.

Действие повести разворачивается в Охотском остроге, в Курске, на Камчатке, в Москве, на Курильских островах, в Тихом океане.

Впервые перед русским читателем открывается новый, неизвестный ему до того мир героических подвигов совершенных его предками на Тихоокеанском побережье Азии и островах Тихого океана.